

Приложение Лагерь и стройки объектов энергетики в воспоминаниях

№ 173

Из воспоминаний Ю. П. Якименко
о забастовке заключенных Речного лагеря¹
на ТЭЦ-2 в [1954 г.]^{*}

Это был лагерь в три тысячи человек. Из жилой[зоны] в рабочую шел коридор. В рабочей зоне ээки возводили большие корпуса для будущей тепловой электростанции № 2 Северного района. Техники не было никакой, все строилось вручную. Контингент, в основном, был украинские повстанцы и литовцы.

Администрация лагеря относилась к ээкам издевательски. Особенно издевался начальник лагеря майор, который строго наказывал за малейший кособокий взгляд, публично страшил всех: «Кто не будет подчиняться, того будут отправлять в закрытые тюрьмы». Он часто устраивал побои заключенных, чтобы всех запугать. [...]

Надзиратели стали на виду у всех избивать одного ээка, который не хотел идти на работу, потому что у него была дырявая обувь, но ее не меняли, так как срок носки еще не вышел. Стихийно поднялся весь лагерь, и все решили не ходить на работу, пока не придет комиссия из управления Речлага. Мы хотели обжаловать унижительное положение заключенных, которое создала администрация лагеря. На третий день вывесили на длинной палке черный флаг, который обозначал, что ээки бастуют. Вначале администрация и начальник лагеря хотели запугать ээков: «Вот выведем всех зачинщиков и организаторов и расстреляем». Но эти запугивания им не прошли, как это у них получалось при Сталине. Но теперь наступили другие времена, хотя администрация и та же самая, те же произволники, бериевские осколки. Начальник лагеря понял, что дело может для него плохо обернуться, начал нас уговаривать, понизил свой высокий тон. Прошло четыре дня, забастовка продолжалась, он нас уже начал умолять: «Снимите эту черную тряпку и идите на работу, а то меня за это разжалуют, а у меня ведь семья есть. Я вас прошу идти на работу; если хотите, я встану перед вами на колени, умоляю вас». Некоторые ээки даже сжалились над ним и предлагали выйти на работу, думали, что он больше не будет издеваться над нами. Но остальные были непреклонны, говоря, что если мы прекратим забастовку, то он и его опричники отправят нас на спец[зону] или в закрытую тюрьму. «За такое короткое время он не мог измениться, потому что он старый произволщик, от сержанта он дослужился до майора». [...]

Через несколько дней подъехала колонна грузовых машин с вооруженными солдатами. По зоне объявляется тревога, приказывают всем разойтись по своим баракам на поверку. А в это время солдаты в четырех местах режут проволоку и с оружием заходят в зону, некоторые стреляли вверх. Открыли ворота коридора в рабочую зону и прикладами начали гнать всех на работу. Выгнали всех, полковник из вновь прибывших выступил, сказав: «Если вы не будете работать, мы примем к вам самые жестокие меры». Все поняли, на какие меры он намекает, пришлось начать работать

^{*} Дата установлена по содержанию документа.

Через три дня стали по несколько человек разгонять по другим лаготделениям, а зачинщиков — в закрытые тюрьмы. Меня отправили на шахту №7 Северного района.

НИИПЦ «Мемориал» Москва. Архив. Ф.2. Оп. 3. Л. 207. Подлинник.
Опубл.: История сталинского Гулага... Т. 6. С. 573.

№ I74
Из воспоминаний В. Е. Соллертинского
«Куда Бог смотрит»

...Месяца через два я оказался в эшелоне, медленно продвигавшемся на запад. В вагоне были главным образом 58-е, уголовники сидели тихо, хотя и попытались, по обычаю, распорядиться порядком по-своему, но были утишены общим воздействием. Тогда по всем железным дорогам страны двигались подобные эшелоны, в каждом вагоне по 40–50, ломая графики движения и уменьшая и без того недостаточную провозную способность железных дорог. В торцах теплушки — двойные нары, на которых помещается 40 чел., одна дверь заколочена и под нее выведена деревянная труба, служащая заменой унитаза, в центре — железная печурка, небольшие окна забиты или зарешечены. Полкило хлеба, миска баланды, две воблы — дневной рацион, достаточный для поддержания жизни в постоянно голодном состоянии.

Этот переезд («этап» — на профессиональном языке) был простым и недолгим. Даже при нашем медлительном движении, с долгими остановками на всех попутных станциях, мы уже дня через три были привезены на маленькую станцию под Самарой. Тут нас построили и повели в карантинную зону большого лагеря «Самарлаг», строившего то, что ныне называется Куйбышевской ГЭС.

Высокий забор из двух рядов колючей проволоки, сторожевые вышки по углам забора, дощатые бараки под брезентовой крышей, двойные нары вдоль стен бараков, утоптанная земля между бараками — место существования. На другой день нас свели в баню — событие для грязных уже не один месяц, для вшивых уже много месяцев. Начало лагерной карьеры оказалось безвшивым.

II

Очнись и приди в себя! Проснувшись же и убедившись, что тебя тревожили только сны, ты вновь пробудись и смотри на все происходящее так же, как ты смотрел на сонные видения.

Марк Аврелий
(*Размышления*. 6:31)

Уже через день нас распределили по бригадам и нарядили на постройку шоссейной дороги, соединяющей площадку ГЭС со станцией железной дороги или с Самарой. Вся земляная работа делалась только вручную, и на насыпях, выемках, оформлении полотна и кюветах работало тысячи полторы заключенных, вооруженных лопатами и тачками. Рабочий день длился 10 часов, нормы выработки были установлены всеобщие, но увеличенные на 25% в соответствии с увеличенным рабочим днем. Копеечная плата зависела от выработки, но никого не интересовала; важнейшим было то, что от выработки зависело количество еды, которое причиталось получить завтра. За полную выработку выдавали 800 г хлеба, миску жидкой каши утром, баланду и кашу

вечером, миску баланды днем. При невыполнении нормы количество еды существенно уменьшалось, доходя при 50 % выполнения нормы до 400 г хлеба и как-то урезанной нормы прочей еды, которая по своей питательности не многого стоила по сравнению с хлебом, бывшим главным, что могло поддержать силы. Все были ослаблены предыдущими испытаниями, не ели досыта уже давно, большинство (и я среди этого большинства) не были натренированы в физической работе. Поэтому выполняющих нормы были только единицы — те, кто был поздоровее и посильнее от природы. Для прочих началось низвержение в голодный Гольфстрим, стремительное для слабосильных, вроде меня, и более плавное для тех, кто покрепче. Сегодня не выкопал 1,5–2 куба грунта, не вывез на тачке по хлипким доскам на нужное место метров за 100 эти примерно 3 тонны — завтра получишь только столько еды, что едва сможешь сделать половину нормы, и количество еды еще уменьшится. Виток сделан, ты приблизился ко дну и, сколько витков тебе еще осталось, не знаешь. У героев Эдгара По под руками оказалось что-то, за что можно было уцепиться, у нас ничего не было: все вокруг были так же голодны и слабы. Дни проходили в тяжелой работе, от которой непрерывно болели все мускулы, ночи — в забытии без сновидений, а чувство голода грозило стать единственным чувством — чувством, подавившим все остальные возможности эмоций.

К счастью, это продолжалось только три недели — срок, и сейчас принятый для карантинной выдержки потенциальных носителей возможных инфекций. По окончании этого срока нас перевели в главную зону лагеря и распределили по разным бригадам, учитывая при возможности наши специальности. Я оказался включенным в бригаду связистов и уже через несколько дней получил задание на ремонт телефонной сети внутри зоны лагеря. Конечно, я с радостью взялся за дело, но первые дни работал очень неважно: я с трудом мог подняться на столб, а поднявшись, вынужден был отдыхать, сидя на траверзах, несущих провода, и ожидать пока пройдет головокружение, вызванное голоданием и утомлением. Качество моей работы начальство одобрило, за количеством не гналось, а паек выдавало такой, будто норма выполнена каждый день. Уже через неделю я порядочно окреп, стал работать поспорее, стал получать отдельные задания, выполнение которых начальство уже не проверяло, будучи уверено, что я все сделаю как надо. Я наконец смог оглядеться и попытаться разобраться в устройстве этого предприятия...

НИПЦ «Мемориал» Москва. Архив. Ф. 2. Оп. 1. Д. 112. Л. 18–21. Копия.

№ 175

Из воспоминаний Л. Н. Лившиц «Конец Колымы»

Во время войны я училась в московской школе и работала то в колхозе, то в военном цеху. Вместе с друзьями переносила голод и холод стойко, с чувством уверенности, что наша страна непобедима. Мы были патриотами; были, несмотря на трудности, жизнерадостны и оптимистичны, как это свойственно подросткам. А после войны мы учились в институтах.

Я — еврейка и в связи с этим была подавлена вдруг начавшимися непрерывными кампаниями против «космополитов», «делом врачей», готовящимся выселением евреев в Сибирь. Я не знала, не слышала ни в школе, ни в общежитии об уже происшедшем выселении-переселении народов нашей страны. Не понимала, что происходит.

В строительном институте, где тогда училась, я обязана была присутствовать на политзанятиях и митингах и голосовать за «разоблачение... осуждение... наказа-

ние... убийц — врачей-евреев». А в общежитии переносила злорадство и ненависть некоторых обитателей. Люди вокруг становились все злее и циничнее.

Тогда я без сожаления покинула Москву, заключив с «Дальстроем» трудовой договор, в котором оговаривалось сохранение московской прописки. И поехала на Колыму с мужем, работавшим там инженером электростанции.

Мы получили разрешение на въезд в «закрытый» город Магадан. Две недели ехали поездом до Хабаровска, потом летели на маленьком самолетике, болтавшемся в воздухе. В Магадане получили путевки на Аркагалинскую ГРЭС — «объект Д2». И поехали в кабине большого грузовика по Колымской трассе.

Двое суток продвигались на Север, непрерывно подтапливая железную печурку. Временами из морозного тумана выплывали скученные деревянные избушки, вросшие в землю — прииски, оставшиеся от первопроходцев. Проехали мост через реку Колыму, проехали поселок Сусуман — районный центр и километров через 80 добрались до развилки. Налево от трассы указан поселок Кедровый. Там устаревшая и маломощная электростанция АРЭК (Аркагалинский энергокомбинат).

Мы свернули направо в широкую долину. Увидели хибары, бараки, сараи, за ними строящийся городок из одинаковых двухэтажных шлакоблочных домов — жилой поселок Мяунджа.

Мяунджа

Если рассматривать планировочное решение застройки долины, то Мяунджа — один из углов треугольника. Второй угол — жилая зона лагеря на 3000 заключенных. Она оцеплена рядами колючей проволоки со сторожевыми вышками. Внутри оцепления четкий строй бараков на плацу. На 50 заключенных каждый барак. Третий угол — Аркагалинская ГРЭС — промышленная зона — большая территория, тоже огороженная рядами колючей проволоки и надзорными вышками. В нее заключена новая электростанция с подсобными службами, хозяйственными постройками и озеро с замороженной земляной плотиной.

Первая очередь электростанции, законченная строительством, тянулась в небо высокой черной трубой. Будто дышало дымом горбатое индустриальное чудовище, вытянув тело среди ослепительно белых сопков. А рядом из недр торчал недостроенный обрубок трубы второй очереди.

Я была назначена на работу в ПТО (производственно-технический отдел) Управления «Энергострой». В отделе работали заключенные — инженеры, собранные из всех лагерей Колымы. Утром их строем приводил конвой, потом они были свободны на просторах промзоны.

Начальник отдела — Леонид Николаевич Бирюков, партийный и общественный деятель, бывший лагерный начальник. Он постоянно передвигается и нервничает, суетлив. А строительное дело знает плохо, зависит в работе от подчиненных заключенных и из-за всех сил создает с ними дружеские взаимоотношения. Он компанейский человек и неостроумный шутник, цинично подшучивает над собой: «Лучше бедный, но честный».

Работа отдела состоит в приспособлении к местным условиям проекта, заказанного и выполненного для Мяунджи в Ленинграде. Наша контора находится в зоне строительной площадки, и заключенные азартно, остро подсмеиваясь над далекими вольными коллегами, переделывают чертежи. Им всякий труд в радость.

И в свободное время они что-то мастерили для себя, для обмена, для продажи. Мне предлагали тапочки, шкатулки, альбомы, скульптурки, картины — можно было заказать что угодно. Поделки примитивные, но красивые, с национальной характерностью: украинские, прибалтийские, молдавские, и видна была ручная работа. Пре-

красную утварь делал румын, натягивая на стеклянные бутылки или вазы, или посуду распаренную кору деревьев, которую раскрашивал, используя фактуру. Свою работу они оценивали высоко, а плату спрашивали продуктами, которых не было в лагерном ларьке, — чай, сахар, масло...

После смерти Сталина в лагере сразу смягчился режим, но больше двух лет длилось напряженное, нестерпимое ожидание перемен. заключенные жили слухами об амнистии, говорили, что в Магадане работает комиссия по пересмотру их дел. Вот-вот комиссия прибудет на Мянунджу.

Когда я впервые вошла в контору, воцарилась тишина до поры, пока ушел Бирюков. Тогда заключенные кинулись с расспросами о новостях в Москве, но сразу выяснилось, что они знают больше меня. Я онемела, слушая свободные речи после московских страхов, доносов, запретов и уже привычной несознаваемой лжи из оглушительных репродукторов и дозволенной литературы. Я слушала заключенных, забыв, что дала подписку общаться с ними только по работе.

Всю работу отдела возглавлял Николай Васильевич Савенко, геолог-разведчик, 10 лет из своих 40 проведенных в колымских лагерях и по отбытии срока оставленный на «вечное поселение». Он был лысый, беззубый, обтянут сухой желтой кожей. Он злоупотреблял спиртным и опаздывал на работу, но приносил оригинальные рационализаторские предложения, за которые ему все прощалось. Еще он остроумно рассказывал анекдоты и печально шутил.

Самый веселый и жизнерадостный — высокий голубоглазый латыш Рудольф Бенуш. На войне он был контужен и в лагере заметно терял слух, но никогда не унывал и даже глухоту использовал в своих интересах, отвечая при желании: «Не слышу», — он по-русски говорил неважно, перевирал ударения, буквы, падежи. Начальник Бирюков постоянно ждал от него подвоха, не доверял этому «американскому шпиону», как он его называл.

Я числилась инженером. Не имея никакого практического опыта, проверяла и подписывала чертежи, выполненные отличными специалистами, которые числились уборщиками, чертежниками, техниками — кем угодно, согласно штатному расписанию и дозволенности для заключенных.

Это было тяжело, как и унижительный их привод-увод: шеренга — пересчет — конвой. «Шагом арш!» — командовал деревенский мальчишка, ошалевший от дурной службы и однажды в поселке начавший палить из автомата.

Бирюков при всех называл меня «комсомолочкой», утверждая общность с ним, а после увода заключенных поучал: «Не доверяй, соблюдай дистанцию. Шпионам дают долгосрочные задания «вживаться», налаживать связи, усыплять бдительность». Эти понятия, усвоенные с детства и с войны, я не могла отнести к своим коллегам. А Бирюков казался двуличным.

Немногим позже меня приехала из Омска Валя, тоже инженер-строитель.

Владимира Антоновна Билецкая родом из Стрыя — городка подо Львовом. Ее родителей с детьми — Тарасом, Остапом, Богданом, Владимирой — выслали в Сибирь, где отец погиб на лесоповале, Тарас заболел туберкулезом, а мать и младшие дети выжили в Омске. Такую быль поведала Валя скорым украинским говором, пересыпая речь поговорками, притчами, горьким юмором.

Контора оживилась. Все влюбились в высокую изящную девушку со вздернутым носиком, вишневыми очами, милой улыбкой. Кто-то поставил на ее стол три цветочка в стакане.

Режим в лагере совсем смягчился, наших коллег расконвоировали, и они должны были являться в бараки только к отбою, а свободное время проводили в поселке. Собирались в общежитии в маленькой валиной комнате, где жил ее брат Богдан. Валя — домовитая, хлебосольная хозяйка — пекла пироги и рассказывала:

— Мы на западе представляли Сибирь каторжным краем, где бродят разбойники, а люди от голода едет друг друга.

— И ты верила? — спросила я.

— Все верили. Говорят, говорят — зря не скажут, — ответила она поговоркой.

— Людей ели, — вставил Николай Васильевич, — сперва золотоискатели, когда застревали здесь на зимовку, а потом (до сих пор едят) блатные, находясь в бегах.

— Нас выслали в Сибирь, отняв построенное и нажитое своим трудом, обвинили, что нанимали батраков на летний сезон. Но ведь они сами просили работу. Не каждый желает заводить хозяйство — хлопотно. А они жили хорошо и без забот. У нас даже сабаки жили лучше ваших колхозников. Мы встречали советских солдат цветами как освободителей от немцев и поляков, лезли на танки целовать их. И оказались в Сибири.

— Вместе с советскими солдатами, — проворчал Николай Васильевич.

Но все разговоры возвращались к амнистии, к «закрытому» докладу на съезде партии. Я спросила, откуда они всё узнают. В ответ поляк Юлиан Любасовский подозрительно спросил: «А ты что, шпиён?»

Валя не любила разговоры, запевала украинские песни, всех заставляла петь и танцевать, все больше хорошея от всеобщей влюбленности. А я удивленно слушала незнакомую историю нашего времени, мало похожую на ту, что изучала в школе и институте.

НИПЦ «Мемориал». Архив. Ф. 2. Оп. 2. Д. 54. Л. 3–8. Копия.

№ 176

Из книги Серединой Н. П. «Воспоминания дочери»

Мера наказания

Мы ехали на Кольский полуостров к отцу², который отбывал 8-летний срок заключения на строительстве Туломской ГЭС. Разрешение на наш приезд он заработал ударным трудом, и наша семья была первой, которая получила право на свидание с отцом и мужем. Отец, химик по образованию, работал начальником земельно-скальных работ и находился на положении вольнонаемного. К нашему приезду ему выделили домик на холме, состоящий из двух маленьких комнат и кухни. Дали охрану и дневального, который должен был помогать маме в тяжелой работе: носить воду, колоть дрова и топить печь. Звали его Терзикьян, и он имел большой срок за контрабанду и убийство.

Перед домом был небольшой палисадник, в котором цвели махровые левкои, посаженные папой. Солнце светило круглые сутки, и цветы были чудо как хороши.

Отец встретил нас семгой во всех видах: она была малосольной, из нее варили уху и ее жарили. После московской полуголодной жизни мы никак не могли привыкнуть к такому изобилию и разнообразию в пище.

Когда мы с братом (мне было 10 лет, а брату 8) привыкли к новой жизни, то стали все дальше удаляться от нашего дома. Недалеко от дома под холмом мы обнаружили барак, в котором жили уголовники. Все население строительства ГЭС делилось на вольнонаемных, политических и уголовников. Жители барака сразу заметили нас и стали нам оказывать разные знаки внимания: они угощали нас морошкой и черникой, сплели мне цепочку из конского волоса, а брату сделали самокат и настил из досок, который с холма спускался прямо к бараку. Наконец мы решились зайти в барак.

Вдоль стен в несколько рядов находились нары, а посередине стоял деревянный стол со скамейками. Нас всегда встречали радостно, расспрашивали о жизни на воле. Многие имели семьи и скучали по своим детям, поэтому каждый старался оделить нас своим вниманием. Только одно отравляло наше пребывание в бараке — крепкие ругательства, которыми они пересыпали свою речь. Брат предложил их за это штрафовать. За каждое ругательство — 10 копеек. Мы завели пол-литровую банку и стали собирать десятикопеечные монеты. Все безропотно подчинились этому решению. Они стали меньше ругаться в нашем присутствии, а мы с братом даже старались зайти неожиданно, чтобы наложить штраф.

Однажды отец пришел днем пообедать и увидел на окне пол-литровую банку, более чем наполовину наполненную десятикопеечными монетами.

— Откуда вы взяли эти деньги? — спросил он.

Мы с радостью стали рассказывать ему, как в бараке мы наказываем тех, кто ругается. И отец совершенно неожиданно рассердился и накричал на нас. Человек он был мягкий, сдержанный, поэтому его выговор особенно нас расстроил.

— Они здесь лишены всего: семьи, детей, привычной домашней обстановки, нормального питания, у них даже нет денег на махорку, а вы забираете у них то немногое, что они имеют. Сейчас же отнесите деньги и отдайте их.

Мы, как побитые, пошли в барак и рассказали, какую взбучку получили от отца. Конечно, мы не знали, кому и сколько денег мы должны отдать, и поэтому сообща решили попросить кого-нибудь из вольнонаемных купить на эти деньги пряников. Нам принесли большой пакет, и мы разделили пряники между всеми. Так закончилась наша воспитательная работа.

Под колесом истории...

23 марта 1935 г. отец писал маме: «Неплохо выяснить у следователя Чертока мое положение — 2,5 года я фактически отбыл, зачетов местных — 1,5, наркомовских условно — 3, итак, считай, я отработал — 7, попробуй и ты отвоевать 2–3 года, ну, тогда и дома скоро буду. Потом, по окончании строительства Туломской ГЭС, пришла поздравительная телеграмма с сообщением, что отца представили к награждению орденом, и он скоро будет дома. А затем — молчание, и наконец мы узнаем, что в августе 1937 г. он был переведен на Колыму. Потом — письмо от 31 мая 1938 г., адрес: ДВК, бухта Ногаева, палатка п/о (п/я № № 3): «Восхищаюсь своим организмом: при наличии не менее десятка всяческих болезней перевыполняю единые союзные нормы на 150 % при 12-часовом рабочем дне, и это на земляных работах, переворачивая иногда до 30 м³ грунта, скажем, при выгрузке автомашины — вот тебе и болезни. Поэтому и получаю 50–60 руб. в месяц, а потому и в дополнение к пайку докупаю 1200–1400 г хлеба и съедаю в сутки до 2 кг. Хватает и на махорку».

В ответ на мамино письмо с вопросами: «Кто виноват? За что? Почему?» — ответ «сенькиной» почтой, на бумаге из-под махорки, конверт треугольником, без проверки цензурой: «Рыба тухнет с головы». В 1940 г. перевели в Магадан, в «Колымпроект». 18 ноября 1941 г. (был освобожден 12 июня 1941 г.) вызов в органы Магадана. Из письма отца: «Сразу заболел, температура поднялась, но все-таки зашел в кино, показывали «Богдана Хмельницкого». Пан Понятовский еде на шляхту, а по бокам столбы, на столбах земляки, а под земляками костры, а они смеются, хорошо так смеются. И первая моя мысль: «Эй, землячки, нет ли там у вас свободного столбика? Видно, и мне посмеяться придется». Вот и смеюсь «по-новому» пятый год. И не к чему твои вопросы — зачем? почему? Под колесницу истории попадают не только плохие люди! На этом «крапка», по-украински — точка. И найди лекарство, вредные вопросы не возникали, я нашел — Джек Лондон помог!»

Сколько веревочке ни виться...

Уже после смерти Сталина, в 1954 г., я обратилась в прокуратуру с просьбой пересмотреть дело моего отца, Середина Павла Григорьевича, арестованного в 1933 г., отбывшего два срока наказания — 8 и 10 лет и умершего на поселении в селе Тасеево Красноярского края в 1952 г.

Целый год я ждала ответа и наконец пошла в военную прокуратуру на ул. Кирова. В приемной было много народа, но вскоре меня вызвали: «Середина Наталья Павловна». Я вошла в кабинет, со мной были вежливы и на вопрос: «Почему так долго нет ответа?» — сказали: «Вы одна из первых обратились по коллективному делу химиков, а по этому делу проходило очень много специалистов, и все их дела нужно рассмотреть. Подождите, ответ будет». Когда я вышла в приемную, меня окликнул мужчина: «Вы не дочь Павла Григорьевича Середина?» — «Дочь», — ответила я.

— Я, инженер Лосев, был с вашим папой на медных рудниках в городе Спасск Карагандинской области. В шахте он не работал, так как часто и тяжело болел, а шил спецодежду: варежки и робы. Ему повезло: в медчасти работал его земляк, и он поддерживал вашего отца, давая ему лекарства, и периодически укладывал в медчасть.

Папа действительно писал нам об этом медике и просил достать редкое лекарство для его жены. Там отец находился с 1948 по 1951 г., до своего освобождения. В 1956 г. в одном из арбатских переулков я получила маленькую бумажку — справку о реабилитации, но там не было слова «посмертно».

НИПЦ «Мемориал». Архив. Ф. 2. Оп. 2. Д. 78. Л. 8–9, 14–15. Копия.

№ 177

Из воспоминаний С. Л. Гузиковой о работе врачом в I-м лагерном отделении Самарского ИТЛ

СКГУ*

Зима 1940 года. В деканате института заседает комиссия по распределению на работу будущих врачей. Студенты лишены права выбора места работы, комиссия назначает их по своему усмотрению.

В коридоре толпятся студенты в ожидании своей участи. Настроение у большинства подавленное. Куда-то закинет судьба? Назначения преимущественно в отдаленные места, по всей стране.

Подошла моя очередь. Вхожу в просторную комнату. За массивным столом сидят представители разных учреждений — работодатели.

На меня положила глаз начальник кадров ГУЛАГа НКВД СССР. Ей нравится, что я отличница, комсомолка. Я должна показать достойный пример. Моя сокурсница Ольга К. рыдает, умоляет не посылать ее в деревню. Страдает канцерофобией, должна быть под наблюдением врачей. Ей повезло — выплакала назначение в Пятигорск.

Мне же рисуется работа в медвежьем углу, где я буду единственным врачом в округе. Вспоминаю «Записки врача» Вересаева, Чехова, своего дядю, бывшего земского врача.

Романтика бежит, опережая меня, и размахивает флагом. Громко произношу: «Пошлите меня как можно дальше!» Вероятно я произвожу впечатление. Сидящие за столом смотрят удивленно и заинтересованно. Я получаю назначение на Дальний Восток, в Нижне-Амурские лагеря ГУЛАГа.

* Имеется в виду строительство Куйбышевского гидроузла.

В мае это решение будет пересмотрено и заменено на строительство Куйбышевского гидроузла ГУЛАГа.

Шли последние месяцы напряженных занятий. Наконец позади государственные экзамены. У меня в руках диплом врача, специальность «лечебное дело». Я должна уметь оказать любой вид помощи. Подготовка у меня солидная. Мечтаю о хирургии. Однако характер будущей работы не ясен. Впереди отъезд.

Дома идут последние приготовления к отъезду. Уже отправлен багаж — большой, горбатый, старый сундук, набитый медицинскими книгами. Сегодня я уезжаю. До отъезда еще несколько часов. Я спешу на Ваганьковское кладбище. Менее года назад там нашел свой последний приют Юра, моя первая, трудная любовь, мой друг и сокурсник. Ему я многим обязана, он был моим наставником, руководителем. С его смертью из моей жизни многое ушло безвозвратно.

Куйбышев встретил меня жарким августовским днем. Два дня ушли на заполнение (уже повторное, после Москвы) длинных, очень подробных анкет. В том числе отдельно заполнено обязательство о неразглашении увиденного в лагере, посредством литературных произведений.

Работать мне предстояло в Жигулях, в городке строителей гидроузла «Красная Глинка». Сами лагеря располагались в окрестностях Жигулей.

В Куйбышеве чувствовался провинциальный дух. Обращал на себя внимание замедленный темп жизни. Размеренность в движении и неторопливость пешеходов, медлительность продавцов в магазинах. Жизнь воспринималась как замедленная съемка в кино, тянулась, как восточный рахат-лукум.

«Красная Глинка» мне понравилась своими коттеджами, разбросанными среди зелени, близостью Волги с ее лесистыми берегами, необыкновенной чистотой и каким-то особым непередаваемым уютом.

Однако были и тяжелые впечатления. Случалось, что по улице проходили под охраной заключенные. И я не раз плакала — так мне их было жалко. Первые три дня я жила в гостинице типа общежития. Железные кровати стояли почти вплитык. Ночи были душными. Никто друг другом не интересовался, у всех свои заботы.

На крутом берегу Волги стоял великолепный, только что отстроенный 3-этажный «Белый дом», так его все называли. В «Белом доме» располагались административные службы строительства. Здание, видимо, только что освободилось от лесов. Дорога к дому была покрыта густой, белой, известковой пылью. В доме была живительная прохлада, широкие коридоры, новенький сверкающий паркет. Мои шаги отдавались в тишине. Коридоры были длинными, пустынными.

В приемной заместителя начальника строительства меня любезно встретила секретарша и провела в кабинет. За громоздким письменным столом сидел человек в форме цвета хаки, средних лет, приятной наружности, с несколько сонным выражением лица. Очевидно, я произвела хорошее впечатление. Мои документы он аккуратно положил на стол и вызвал моего будущего непосредственного начальника — начальника санотдела Сорокина. Последний осведомился о том, где я устроилась, и сразу предложил мне детскую в своей квартире, до возвращения детей с летнего отдыха. Работать мне предназначалось на 1-м участке лагерной зоны, в пяти километрах от «Красной Глинки». Лагерь находился на самой «шапке» Жигулевских гор. Зона была хорошо обжита, на территории много клумб с цветами, ухоженное огородное хозяйство, чистые бараки. Днем людей почти не видно: все зеки на работе. Здесь отбывают срок наказания в основном уголовники. Люди отменного здоровья, крепкие. Заняты на тяжелой работе — намыв плотины гидроузла. В лагере больница, здесь она называется лазарет. Есть и поликлиника, или амбулатория. Все эти помещения светлые, в образцовом порядке.

Врач, Мария Дмитриевна, в прошлом отбывшая срок в лагере, отдала мне половину лазарета и дневной прием амбулаторных повторных больных. Отнеслась ко мне

по-дружески. Вероятно, мой инфантильный вид располагал ко мне всех, общавшихся со мной. Заключение фельдшер Порываев оказался не только с поэтической фамилией — он был настоящим поэтом. Каждый день, уходя с работы, я находила в своей сумочке посвященные мне стихи. Стихи я писала с детства, они были слабыми и не шли ни в какое сравнение с его творчеством.

Вся остальная обслуга амбулатории и лазарета была ко мне внимательна и предупредительна.

Начальник санитарной службы нескольких зон в округе, из вольного состава, молодой фельдшер Ланчинский пришел в восторг от небольшой амбулаторной операции, сделанной мной в его присутствии.

Мария Дмитриевна считала меня эрудированной особой. Все складывалось как нельзя лучше. Но одно обстоятельство тяготило меня. Когда приходило время идти домой, мой путь лежал мимо строившихся на проверку зеков, пришедших с работы. Я шла быстрым шагом. Вслед мне неслись реплики различного свойства на блатном жаргоне, не всегда приличные. Было мучительно трудно все это не замечать и не слышать.

Выходя за пределы зоны, я погружалась в цветущий мир жигулевских холмов и все забывала. Недалеко от зоны была конечная остановка автобуса. Вдоль дороги, бежавшей то вверх, то вниз, стояли леса. Асфальт дороги, накатанный до блеска, вился синей лентой. С одной стороны дороги сквозь леса временами виднелась Волга. Ее простор граничил с горизонтом. Река сияла, искрясь от солнца, голубизна неба сливалась с голубизной необъятной водной глади. Воздух был упоителен. Густые леса на огромной высоте заслоняли выход к Волге. Стоя на берегу, казалось, что и леса, и дорога парят над рекой, и не было ничего, прекраснее этого чуда.

На автобусной станции, почти пустой, всякий раз стал появляться молодой человек. Он явно искал со мной знакомства. Им оказался Сергей Живилев, инженер-энергетик. Это было первое знакомство, но в дружбу оно перешло значительно позже и совсем при других обстоятельствах.

В столовую на «Красной Глинке» я попадала довольно поздно. Посетителей в это время было очень мало. Однажды я оказалась за одним столом с немолодым интеллигентным человеком. Он представился: Константин Федорович Греков, инженер-экономист. Был он высокообразован, подтянут. Писал очень серьезные стихи. Ездил периодически в Куйбышев, посещал кружок куйбышевских писателей и поэтов. Узнав, что я пишу стихи, хотел непременно ввести меня в круг местных литераторов.

Из детской моего шефа Сорокина я переехала к фельдшерице Наталии Алексеевне Тхоржевской. Пожилая радушная женщина сразу же расположилась ко мне, и мы с ней жили очень дружно.

В городке многое знали друг о друге. Над квартирой Наталии Алексеевны жил сотрудник КГБ. Я подружилась с его женой. Он считал, что спас ее от медицинской карьеры, забрав со второго курса медицинского института. Именно ему я рассказала о своем знакомстве с Грековым, не скрывая, что он произвел на меня большое впечатление. «А Вы знаете, что Ваш знакомый в свое время был очень известной личностью? Есть книга «История Гражданской войны», вот там ему посвящены строки. Это знаменитый «поручик Греков». В гражданскую войну в революционном Питере он был комендантом вокзала. Он распорядился вернуть поезд с царской семьей, почти достигший финской границы. И это ему удалось». От Грекова я знала, что он был эсером. Сразу же после Гражданской войны он отошел от всякой политической деятельности. Тем не менее, он отсидел в лагере по 58 статье. По выходе из лагеря работал в ГУЛАГе по специальности.

Константин Федорович был блестящим рассказчиком, у него была прекрасная русская речь. Стараясь меня развлечь, однажды он повез меня на спектакль в Куйбышев. Давали «Сирано де Бержерак» Ростана. Не помню сейчас, кто был занят в спектакле,

но был он великолепен. Много лет спустя, в Москве, этот же спектакль в главной роли с Шакуровым уже не произвел на меня впечатления.

Константин Федорович обещал мне прогулку в лодке по Волге. И как-то в закатный час мы отправились с ним на Волгу. Волжская вода едва плескалась о борт лодки, стояла тишина, в небе догорал золотистый и розовый закат. Во мне звучала «Баркаролла» Шуберта и удивительные стихи Плещеева. На противоположной стороне небосклона, на фоне закатного неба неподвижно стояло облако причудливой формы, лилового цвета. Можно было различить его два крыла, распростертые как у огромной птицы. Мне почудилось, что с нами незримо присутствует Чюрленис. Греков был приятно удивлен, что я знакома с работами Чюрлениса.

В ту пору не издавали Грина. Константин Федорович, предвидя мой читательский пробел, пересказал мне «Алые паруса» и добавил очень точное определение: «Он писал о том, что могло бы быть, но никогда не бывает».

Им была подарена мне прелестная книга «Дафнис и Хлоя» Лонга, в академическом издании. А потом, потеряв голову и забыв о своем возрасте, он писал для меня яркие, страстного накала стихи. Когда я ехала из Куйбышева через Москву в Вытегру, книгу и несколько стихов я оставила дома. В войну они пропали. Помню только несколько строк из его стихов: «Я старый волк, душа и шкура в шрамах»... и дальше: «Я страстно жду ту юную волчицу, которой сны и дни мои полны». Это напоминало Гумилева, любимого мной. Я собирала его стихи всю жизнь, переписывая их из попадавших ко мне на время сборников.

Тем временем у меня на работе разыгрывались прозаические события. Мария Дмитриевна предупредила меня, что в амбулаторные часы приема ко мне явится главарь шайки, симулирующий радикулит. Он не выходил на общие работы. И вот в кабинет вошел детина огромного роста, атлетического сложения. Он волочил ногу, и вся его фигура была согнута. Прекрасно знал симптомы радикулита, а я знала, что он меня дурачит. Неожиданно для самой себя мне пришлось в голову применить лечение аутогемотерапией: кровь, взятую шприцем из вены, я ввела в ягодицу. Назавтра он вышел на работу. Была сенсация, облетевшая всю зону. Главарь месяцами ничего не делал и кормился, отбирая пайки у других зеков. Поминутно открывалась дверь в кабинет, зеки желали видеть врача, совершившего такое чудо. Затем надо было поставить питательную клизму зеку из изолятора, объявившему голодовку. Начальство зоны требовало поторопиться. «Вы смотрите на его зрачки, — наставляла меня Мария Дмитриевна, — он курит анашу — они у него очень широкие, и глаза кажутся черными; сам же он очень бледный».

Изолятор — тюрьма в тюрьме. Отдельный деревянный сруб, одноэтажный, окруженный колючей проволокой. Входная дверь обита железом. Я и фельдшер — поэт Порываев — стоим снаружи. На наш сигнал открывается дверь и выходят два дюжих молодца — охрана. На них одежда цвета хаки, на поясе много ключей. Мы входим в скупо освещенный коридор. У Порываева в руках клизма, в ней теплое молоко, сливочное масло, сырые яйца, сахар. В камере на нарах лежит бледный мужчина с черными широкими зрачками. Порываев пытается ввести клизму, зек сопротивляется, но его держат охранники. Он извергает по нашему адресу страшные ругательства. От униженности всей процедуры я начинаю плакать. Наконец, клизма поставлена, а значит сорвана голодовка. На следующее утро меня вызывают в штаб зоны. Оперуполномоченный настаивает, чтобы я дала письменные показания о происшедшем, чтобы добавить срок наказания несчастному зеку за оскорбление. Я не соглашаюсь, хотя меня долго уламывают. Как ни странно, но мое поведение становится достоянием зоны. Зеки смотрят на меня с уважением, тем более вольнонаемные.

В эту пору я напоминала подростка: очень худенькая, с короткой стрижкой, в короткой юбке с блузкой. Очень прямолинейная, все принимающая на веру, в меру скромная.

Вскоре появились слухи о том, что «СКГУ» расформировывается. Сотрудники направлялись работать на Безымянку (там строился авиационный завод), а также в город Вытегру на реконструкцию Мариинско-Шекснинской системы, устаревшей с времен Петра I. Мой шеф и покровитель Сорокин звонил по несколько раз в неделю, справлялся у Марии Дмитриевны, не перегружена ли я. Я мечтала о хирургии. Нашла много хирургического инструментария, лежавшего без дела. Собрала из разного лома аппарат Патена, откачивала экссудат из легких. Мне хотелось настоящей работы, но ее не было. Без дела лежал электроскальпель, неизвестно как попавший сюда.

Меня вызвал Сорокин, спросил, куда бы я желала поехать на работу: на Безымянку или в Вытегру. Не раздумывая, я назвала Вытегру. Романтика бежала впереди меня, размахивая флагом. Я хотела на большую стройку, на большую работу. Так мне рисовалось будущее. Не имея жизненного опыта, плохо зная систему, где я работала, я не представляла, какие испытания ждут меня при освоении новой лагерной зоны.

Пришлось сопровождать первый этап зеков в Вытегру. Мой большой сундук с книгами следовал за мной. Сначала все ехали поездом. Тысяча человек зеков в товарных вагонах. На больших станциях стояли на запасных путях. Начальник этапа, его помощник и фельдшер, которую я раньше не знала, — в пассажирском вагоне. Ехали через Москву до Лодейного Поля. В Лодейном Поле железная дорога кончалась. По дороге фельдшер на всякий случай поучала меня: «Ты смотри, что бы ни случилось, пиши рапорт в двух экземплярах начальнику политотдела. И чтобы секретарь на копии расписывался в получении. Копию оставь себе». Это наставление вскоре мне очень пригодилось.

В Москве поезд стоял несколько часов, и я забежала домой.

В начале октября прибыли в Лодейное Поле. Провинциальный деревянный городок, очень самобытный. Здесь зеков погрузили в трюмы нескольких барж. В баржах была скученность и антисанитария. Начальник этапа был молодой человек, при случае виртуозно ругавшийся матом. Его совершенно не беспокоило, что среди зеков начались болезни. В каждой барже находился заключенный фельдшер. Я в трюмы не спускалась, это было опасно. Баржи должны были пройти через всю Шекснинскую систему шлюзов. Шлюзы преодолевали медленно, более недели. Вся «техника» шлюзования сохранилась с времен Петра Великого. Баржи двигались с помощью лошадей-бурлаков, понуро ходивших вокруг барабанов, наматывающих канат. Было уже холодно и ветрено. Сказался север.[...]

Вытегра стала многолюдной. Иногда на улице мелькали интересные лица. Среди моих коллег из Санотдела я сблизилась с санитарным врачом Любовью Абрамовной Канонер. Она отличалась юмором, приятной внешностью: шатенка с серыми глазами, стройная и всегда со вкусом одетая. Была много старше меня. У нее сложилась трудная судьба. Муж был репрессирован и находился в Ухта-Печерских лагерях. По всей вероятности, именно это обстоятельство привело ее на работу в систему ГУЛАГа. Она дружила с Гириным. Гирин много лет в МИДе ведал выдачей виз за границу. От этой работы по какой-то причине был освобожден и, как на штрафную работу, направлен из Москвы в Вытегру. Держался он обособленно. Работал в управлении Вытегорстроя. Таких «разжалованных» работников в Вытегорстрое было немало. Жизнь складывалась однообразно, работа не приносила радости. Периодически в лагерь поступало пополнение, обычно этапами в тысячу человек. Первые сутки этап отдыхал, а затем этапированных осматривали врачи, определяя, к какому виду труда пригоден тот или иной зек. В зону придавались на эти дни дополнительные врачи. За длинным столом сидело трое, четверо врачей и человек, подготавливавший формуляр на каждого зека. Зеки уныло стояли в очереди на медосмотр. Большинство — узбеки, таджики, молдаване и другие национальные меньшинства. Русского языка, как правило, не знали. Зеки из восточных республик в стеганых халатах почти до полу, в тубетейках и каких-то рваных тапках раздевались около стола. По халатам ползали вши в таком количестве, что поверхность их как бы шевелилась. Белья часто и вовсе не было.

Раздевались догола. Полагалось спросить, что болит. Зек, не понимавший русского языка, молчал. Тогда задавался совершенно идиотский вопрос: «Курсак болит?». Этот стандартный вопрос вызывал живую реакцию, зек хватался за живот, показывая как болит «курсак». На ломаном русском иногда объясняли, что сидят за неповиновение, нежелание расстаться со своими овцами или какой-либо другой живностью в процессе «раскулачивания» или коллективизации. Истинные дети природы, степей и гор, оторванные от привычной среды, — их было страшно жалко. Я в такие дни очень уставала и физически, и душевно. Фактически приходилось устанавливать, целы ли руки и ноги. Послушать сердце или легкие, или посмотреть живот времени не было. Готовность к труду определялась двумя категориями: «тяжелый физический труд» и «легкий физический труд». Категория заносилась в формуляр. Осмотр был не более как фарс, пустая формальность. По-видимому, работа для всех была одинаковой и тяжелой. Земляные работы велись вручную, ни о какой механизации речи не было.

Лазарет был примитивный: ни лаборатории, ни рентгена не было. Больные не хотели выздоравливать, иначе говоря, возвращаться на тяжелую работу. В своем кабинете я не могла оставить мыло. Оно тут же исчезало. Тоненький кусочек мыла, введенный в мочеиспускательный канал, вызывал картину гонореи. Керосин тоже надо было надежно прятать: иначе нитка с иглой погружались в керосин, после чего мышца на кисти рук прошивалась насквозь иглой так, что смоченная керосином нитка на некоторое время оставалась в мышце. После извлечения нитки развивалась флегмона: отторгались ткани, обнажались и нервы. Картина была ужасной, и не менее ужасны были последствия. Человек оставался калекой.

Съеденный кусочек мыла вызывал бурный понос, изнурявший больного, ухудшавший течение любой болезни.

Улучшение в состоянии больного часто не радовало ни больного, ни врача.

Для медперсонала ГУЛАГа, тиражировались брошюры с грифом «секретно», где было описание течения пеллагры и перечень членовредительств.

Изредка, во время обхода в палатах, мне незаметно опускали в карман халата записки с просьбами. Один раз умирающий от пеллагры написал: «Доктор, Вы очень напоминаете мою сестру. Она всегда заботилась обо мне, поила меня молоком. Принесите мне молока».

Случалось, что я не могла отказать. Я рисковала попасть в большие неприятности. Такое называлось «связь с заключенными» и каралось определенной статьей законодательства.

Работа в зоне требовала выдержки, не давала абсолютно никаких перспектив на будущее, вселяла безнадежность.

НИПЦ «Мемориал». Архив. Ф. 2. Оп. 2. Д. 21. Л. 1–6, 10 а. Копия.

Комментарии

¹ Речной лагерь (Особый лагерь №6, Особлаг №6, Речлаг) организован 27 августа 1948 г. на базе лагерного подразделения Воркутлага, закрыт 26 мая 1954 г. (Управления Особлага №6 и Воркутинского ИТЛ объединены в Управление Воркутинского ИТЛ). Дислокация: Коми АССР, г. Воркута. Производство: добыча угля на шахтах комбината «Воркутауголь», обслуживание кирпичных заводов №1 и 2 комбината, совхоза «Заполярный», работы Дорстроя, стройконторы Горстроя №2 и др. По данным на 1 января 1952 г., списочный состав лагерного контингента составлял 35459 человек, в том числе каторжников 11751 человек, из них женщин 900 человек. (См.: ГА РФ. Ф. Р-9414. Оп. 8. Д.35. Л.1). На 1 января 1953 г. численность лагеря была 35451 человек.

² Отец Н.П. Серединой — Павел Григорьевич Середин — был осужден по постановлению Коллегии ОГПУ от 4 ноября 1933 г. к 8 годам ИТЛ по ст. 58-2-6-10 УК РСФСР. Место отбытия срока: Архангельская обл. (лесоповал); Тулома (строительство ГЭС); Колыма, бухта Нагаево (земляные работы); Магадан (технолог на пищекомбинате); Казахстан (медные рудники). Освобожден 12 июня 1941 г. Реабилитирован 30 октября 1956 г. (Сведения взяты из анкеты репрессированного. См.: НИИПЦ «Мемориал». Архив. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4281. Л. 2.)